

## Н. В. ШЕЛГУНОВ

### Еще об идеалах (Письмо в редакцию «Недели»)

В «Неделе» в последнее время возбуждался несколько раз вопрос об идеалах, а г. Кавелин посвятил ему даже целую статью<sup>1</sup>. Автор ее справедливо придавал значение поставленному им вопросу — и ожидал возражения. Наш ответ в сущности не возражение — мы хотим только продолжить мысль автора и вместе с тем хотели бы думать, что несогласие редакции «Недели» с нашими основными положениями не помешает ей, уже в самих интересах вопроса, напечатать настоящее письмо\*.

#### I

Кавелин сравнивает движение русской мысли при Белинском с теперешним движением. Он разделяет идеал от идеализма и совершенно справедливо замечает, что без идеала не могут обойтись ни реалист, ни идеалист. Когда те и другие обращаются к действительности, они тотчас же начинают опираться на идеал. Между идеалом идеалистов и реалистов автор устанавливает такую разницу: для реалиста факт, данное, с его условиями и законами, стоит на первом плане; он никогда не теряет связи того, что есть, с тем, что должно быть; для него цель всякой деятельности — переделать существующие условия в желаемые новые. Но эта цель зависит вполне от свойства данных сочетаний, от свойства фактов и условий их сочетаний, как существующих, так и предполагаемых. Из этого автор выводит, что идеал человека с реальным направлением не может иметь заранее подробно определенной и законченной формулы. Идеал не стоит впереди как нечто готовое; он только указывает путь, наклон, строй деятельности. Иначе сказать, идеал есть запрос, поставленный де-

---

\* Мы не согласны преимущественно с самой постановкой вопроса в настоящем письме, как не были вполне согласны с постановкой его и в письме г. Кавелина к г. Пыпину. Нам кажется, что для полного разъяснения вопроса, обсуждаемого в этих письмах, следовало бы — прежде чем сравнивать две эпохи нашего умственного развития — привести их, говоря языком математики, к *одному общему знаменателю*. Тем не менее, напечатав статьи г. Кавелина, мы считаем не лишним напечатать и настоящее письмо. — *Ред.*

тельности, — запрос, от которого реалист, пожалуй, и откажется, если не существует налицо всех желаемых сочетаний.

Идеалисты, по словам автора, поступают иначе; они прежде всего слушаются своего чувства и подчиняются своим желаниям, для них идеал настолько ломающая и деспотическая сила, что если действительность не хочет им подчиняться, то они отрицают ее во имя идеала. У идеалистов идеал есть законченное во всех подробностях представление, точная мерка для жизни и центр ее тяжести. Поэтому идеал идеалистов так же стеснителен и узок, как устаревшие исторические формы. В общественном и политическом быту подобный идеализм ведет к деспотизму и к доктринерству, а в художественной сфере — к теории искусства для искусства.

Применяя эту теорию к Белинскому, автор находит, что Белинский носил в себе идеал нравственной человеческой личности, как создался он у нас по европейским образцам, и в то же время страстно отрицал наше тогдашнее общественное безобразие. Белинского страшно раздражала житейская гниль и пошлость, на которые он наткнулся на каждом шагу. Белинский при этом не был представителем отрицательного направления; только во имя идеалов относился он отрицательно сперва к предшествующей русской литературе, потом к русской современной деятельности. Белинский только потому воспитал целые поколения, что имел идеалы и вносил их в свою деятельность. Без этого Белинский не имел бы влияния и не поднял бы русской мысли и настроения на нравственную высоту.

Последователи Белинского недолго останавливались на идеально-нравственной личности и скоро перешли к идеалам высшим, общественным. В этом автор видит причину упадка нашей руководящей идеи. Он говорит, что Белинский, идя к идеалу, был в сущности реалист и никогда не покидал почвы деятельности. Наши же реалисты были чистыми идеалистами и хотели подогнать жизнь под готовую мерку. Белинский никогда не формулировал своих идеалов и не навязывал их действительности. Его сила и обаяние заключались в глубоконаравственных стремлениях; он действовал своим настроением, силой своего внутреннего огня и, возбуждая благородные чувства, поднимал силы и вызывал самодеятельность в самых разнообразных направлениях. Действуя на настроение и возбуждая активный подъем духа, он представлял широкий простор личной деятельности каждого, он возбуждал человеческую, нравственную, духовную личность и обращался, так сказать, к источнику, к живой душевной струе всякого.

Но не так действовали последующие критики. Отжившим формам жизни они противопоставляли свои, выставили программу и не дали никаких способов для ее выполнения. Их идеалы не имели ничего

общего с идеалами Белинского, и вот почему они не могли создать школы в литературе и критике. Веруя во всемогущество сформулированного идеала, они хотели им перестроить жизнь; но действительность не уступила идеалу. И когда идеал этот изменил и оказался неприменимым к практике, выступило отрицательное направление, которого не знал Белинский. Мы стали отрицать, забыв об идеалах, и они отходили все дальше и дальше, меркли понемногу в нашем сознании и наконец совсем испарились. Негодование, страстность сменились безучастной и бесстрастной насмешкой. И оттого, что мы забыли путь, которым шел Белинский, мы сбились с толку и потеряли дорогу.

Выход из этого положения автор видит в разработке серьезной, честной мысли и в серьезном, честном труде. Сформулированных, безусловных идеалов с печатью действительности и реальности нет и быть не может; стало быть, нечего и искать их, говорит автор. Формулы меняются и перерождаются; но известный умственный и нравственный строй, без которого нельзя ни действовать, ни творить, достигается только опытом, знанием. Создает только положительная деятельность, и только она творит идеал; где же нет живой деятельности, опирающейся на идеалы, там заступает место ее историческая рутина, заведенный порядок, изношенное лохмотье. У нас хаос царит только потому, говорит автор, что нет идеалов, печать не руководит мнением, а стереотипирует вальпургиеву ночь, шабаш ведьм, происходящий в наших головах. «Нет, наполнить пустоту в наших мыслях, вылечить нас от нравственного бессилия могут только идеалы, от которых мы отреклись в принципе, и горячее, честное искание которых составляет глубокий смысл многострадальной критической деятельности Белинского».

Слово это — честное, искреннее, но слишком горячее в пользу Белинского — мне кажется не совсем справедливым по отношению к его продолжателям. Честность и благородство их порывов и стремлений были несколько не ниже, а по своему энтузиазму продолжатели Белинского были даже выше его. Белинский, при всей искренности стремлений и при возвышенном благородстве своих чувств, не только колебался между разными направлениями, но и потому только не дошел до сформулированных представлений, что его требования не были точны и ясны. Если бы Белинский дорос до общественно-реальной зрелости и вышел бы из туманного идеализма, в котором он витал, он точно так же провозгласил бы известную положительную формулу для общественного строя, как это сделали его преемники.

В том-то и дело, что чувство, как сила, дает энергию мысли, но самой мысли не создает. А формы жизни созидаются не на смутных чув-

ствах, — если бы мы доходили даже до фанатической силы и были бы даже способны совершить геологические перевороты, — а на ясных, сознательных идеях. Следовательно, вся разница между прежним и нынешним не качественная, а количественная; разница в том, что перед Белинским стоял как бы один враг, а перед последующей критикой тот же враг, не более многосложный и выяснившийся.

## II

Оставляя слова, «идеализм», «реализм», мы будем говорить о самой сущности вопроса. Честное, благородное и страстное чувство Белинского возмущалось всякой гадостью и низостью, и идеалом его, как нам говорят, был честный, благородный человек. Но разве этот идеал исчез, и последующие критики говорили о нечестном и неблагородном? Нет, Белинский стоял на идеале личности, но эту личность он черпал, так сказать, не из жизни, а искал ее типов в художественных произведениях; в художественных же произведениях, особенно наших, идеал не был никогда ясен; поэтому и самое благородство Белинского и вся вдохновлявшая его сила являлась чем-то неясным, расплывающимся. Если бы то общество, для которого писал Белинский, спросило его, что такое благородство и честность и что именно должен делать честный и благородный человек, то Белинский, конечно, пришел бы в великое затруднение.

Преемникам Белинского пришлось именно ответить на этот вопрос и, так сказать, определить самую сущность благородства, порядочности, человечности и гражданского достоинства. Подробности, в которые они иногда вдавались, были несколько похожи на катехизацию теперешних педагогов, и так как нашлись люди, которые хотели увидеть в этой катехизации программу, то что же удивительного, если человеческая ограниченность не поняла того, что ей говорили, и, по своей привычке вечно ходить на веревочке, сама связала себе руки и ноги!

Если уж обвинять преемников Белинского, то их следует обвинить не в этом, а в том, что они обняли своею критическою мыслью такую массу вопросов и задач, которая была по силам им, но не по силам тем, с кем они говорили. Им, конечно, помог ряд прогрессивных реформ, выдвинувших на сцену множество новых общественных задач и интересов, но они тем-то и были сильны, что не отступили от трудности этих задач и, в сфере социально-экономических теорий, далеко опередили свое время. Можно будет осветить несколько иначе факты; можно будет подобрать иные доказательства, можно будет, пожалуй, местами сделать иную комбинацию, но сказать что-нибудь новое

в самой сущности идеи нельзя. Пока действует поколение шестидесятих годов и пока пишут писатели того же периода, исчерпавшие этот вопрос, он никогда не появится в печати с тою яркостью и свежестью, с какой являлся в шестидесятих годах. Горячо отнесется к нему опять только последующее поколение, которое выставит свои требования и захочет ввести поправки в экономическую практику предыдущего периода. Кроме экономических вопросов, были возбуждены вопросы политические, общественные и опять с такой далеко захватывающей смелостью, что г. Тургенев упрекнул Добролюбова в бестактности<sup>2</sup>. Пусть припомнит читатель все, чего коснулась мысль шестидесятих годов, и он ужаснется громадности работы, которую она совершила. Ни на земле, ни на небе не осталось ни одного свободного уголка, куда бы не заглянул критический глаз. Уж если теперешние практические реформы обхватили все сферы жизни, то что же можно сказать о мысли, и мысли теоретической, вовсе и не задававшей задачей войти непременно в немедленную практику? И потому, что теоретическая мысль этой задачей не задавалась, она порешала быстро и сразу вопросы этнографические, политические, общественные, экономические, вопросы о формах жизни и, забравшись в душу каждого отдельного человека, попыталась даже для него создать нравственные правила и дать критерий для единоличного поведения.

### III

Нам говорят, что Белинский выработал свои идеалы с внутренней борьбой и страданиями, о которых мы теперь не имеем никакого понятия; а мы ответим, что критическая мысль шестидесятих годов создавалась с такой внутренней борьбой и такими страданиями, о которых последующее поколение тоже, быть может, не будет иметь никакого понятия. Нам говорят, что вся сила и обаяние воззрений Белинского заключалась в стремлениях, глубоко проникнутых нравственным элементом. Почтенный автор точно сводит вопрос к спору о том, когда критическая мысль была честнее, когда действовало большее увлечение благородством, когда желания были искреннее и когда руководителей воодушевляла большая любовь. Мы думаем, что этого вопроса нельзя касаться ни в какой форме, и если бы пришлось положить честность на весы, то честность последующей критической мысли перетянула бы только потому, что сама по себе мысль была шире, многообразнее и богаче.

Нам говорят, что Белинский, действуя настроением, подымал силы, вызывал самодеятельность и предоставлял широкий простор личной деятельности каждого; что он будил к умственной деятель-

ности, вынуждая искать применения идеала к самым различным обстоятельствам и условиям. Белинский, говорят нам, действовал на человеческую, нравственную, духовную личность. Но поставьте вместо имени Белинского имена последующих критиков — и разве приведенные нами слова не окажутся оценкой и их деятельности? Уж они ли не действовали на подъем духа, на подъем сил; они ли не вызвали самодеятельности; они ли не говорили о правах личности; они ли не будили и не толковали, взывая и к чувству человеческого достоинства, и к сознанию, и к честности и гуманности, и к общественной солидарности? Может быть, никогда при Белинском обращение к благородным сторонам человеческой природы не было так широко и не задевало ее во всех видах ее технических подробностей, не рисовало более полного нравственного идеала, к которому должен стремиться современный человек и гражданин.

Беда заключалась в том, что стремления и идеалы были слабее или ниже, и в том, что новые требования оказались не по силам тех, кому они были предъявлены. Требования эти были так обширны, нравственный состав нового идеального человека оказывался таким многообразным, что для осуществления его требовались стофутные люди. Понятно, что каждый, читая свое, выискивал то, что приходилось ему по плечу и затем шел, куда тащили его обстоятельства и низкий строй жизни, которым овладеть он не был в состоянии. Вот откуда явилась вальпургиева ночь и шабаш ведьм, о котором говорит почтенный панегирист Белинского. Ответственность за «уру», на которую хотели взять жизнь все, почувствовавшие себя самодеятельными и самостоятельными посредственности и ограниченности, автор точно приписывает новой работе критической мысли, тогда как в сущности это печальное явление настолько уже общеизвестный исторический факт и столько раз он повторялся у всех народов, что если бы мы захотели употребить тот же прием, то доказали бы, что и хвост Белинского тоже нередко завязал в болоте и грязи. Конечно, за Белинским было труднее заблудиться, но не потому, что его критическая мысль была безошибочнее, а только потому, что общественные условия представляли меньший простор для единоличного произвола, а сами нравственные требования расплывались больше в чисто психологической сфере каждого, а не реализовались на почве действительности, как это случалось в последующее время.

Для поправки ошибочного суждения современной критической мысли, будто бы заблудившейся только оттого, что она не шла путем Белинского, автор предлагает оживить и возродить общество умственно и нравственно. «Кроме серьезной, честной мысли и серьезного, честного научного труда, я признаюсь, — говорит он, — ничего не вижу

и ничего не могу придумать. Формулированных, безусловных идеалов с печатью действительности и реальности нет и быть не может; стало быть, нечего и искать их». Формула, которую предлагает автор, сводится, таким образом, к честному труду, знанию, к серьезной, честной мысли. А разве не эту самую формулу провозгласила критическая мысль, сменившая Белинского? Чему другому она учила и что другое она проповедывала? В чем же ее обвинение, в чем же ее ошибки? Но чтобы слова мои не показались бездоказательными, я прослежу ту формулу обновления, которую автор называет «программой без способов ее выполнения».

#### IV

Обществу говорилось: «Вы не идиоты и не обезьяны по телосложению, а люди кавказской расы, сидевшие сиднем, подобно Илье Мурумцу, атрофировавшие свой мозг продолжительным и вредным бездействием; надо его расшевелить, и он быстро войдет в свою настоящую силу. Но мозг можно расшевелить не моральной болтовней, а живыми идеями; потому с живыми идеями нужно обращаться к тем, которые способны приступить к делу. Умственными силами нужно пользоваться с осмотрительностью и осторожностью и браться только за те работы, которые могут принести обществу действительную пользу»<sup>3</sup>. Таким образом вопрос о пользе и об экономии умственных сил провозглашается краеугольным камнем всей последующей деятельности человека. «Природа не храм, а мастерская, — говорит Базаров, — и человек в ней работник». Ясно, что каждый должен делать то, что нужно, потому что этим «нужно» только и определяется полезное отношение лица к обществу. В сущности, это больше ничего, как применение к общественному и личному поведению основной теоремы Адама Смита о труде и той же теоремы Стюарта Милля о выгодном и убыточном потреблении.

Мы согласны, что эта формула не представляет той идеальной увлекательности и не возбуждает тех расплывающихся чувств и ощущений, которые возбуждаются художественными типами наших первоклассных романистов. Тут идеал другой. От него веет стоицизмом и катоновской суровостью. Идеал работника напоминает больше то мускулистого кузнеца, которого рисует Золя, а не изнеженного франтика или недовольного кающагося дворянина, идеальной типичности которого пленяется г. Венгеров в Чулкатурине<sup>4</sup>. Но скажите, чем же это идеальное требование, взывающее к строгому стоицизму, и подчинение мечтательных потребностей действительным ниже идеального образа маркиза Позы?

Если наши умственные силы расходуются нерасчетливо<sup>5</sup>, где же причины этой нерасчетливости? Каждый человек убежден, что он делает то, что нужно и то, что полезно; но если прямо поставить вопрос, что нужно и что полезно, все проповедники пользы разбегаются врассыпную. И в то же время ни один писатель не скажет, что он работает для нанесения вреда обществу и не приносит ни малейшей общественной пользы. Что же такое польза? И вопрос этот был разрешен тем, что полезное есть то, что прежде всего отвечает насущным, ближайшим потребностям отдельного человека и общества. В дальнейшем своем развитии эта формула породила известный афоризм «о горшке и Шекспире», — афоризм, наделавший большого скандала и послуживший к обвинению самой формулы. На эту тему было написано очень много о неуважении искусства, отрицании эстетических потребностей, отрицания художественности и т. д. и т. д. Но сущность вопроса заключалась в том, что если человеку предстоит два выбора — донжуанство вроде Печорина или Онегина и полезно-практическое поведение, то умный человек делается не Грушницким, Печориным, Лакрецким, а изберет скорее всего своим типом Базарова. Потому что из числа знаний предлагались такие, которые англичанами зовутся наукой, и во главе их ставилось естествознание.

Мы очень хорошо знаем, что ни за что не доставалось так сильно творцам формулы, как за провозглашение ими естествознания. Но разве они были виноваты в этом? Когда перечитывались читателям и указывались имена Либиха, Лемана, Жюльдера, Молешотта, Дюбуа-Реймона, Пфлюгера, Фирхова, Фирэрдта, Фалентина, Гельмгольца, братьев Вебер, Карла Фогта, Гиртля, Бронна, Келлекера, Фульроти, Шахта, Александра Гумбольдта, Шканна, Функе, Эренберга, Зибольда и др., — этим говорилось совсем не то, что хочет видеть автор, вызвавший наш ответ, и еще некоторые из критиков теперешнего времени, ринувшихся в противоположную крайность. Никто не говорил, что естественные науки заменят философию и дадут идеалы. Критика знала очень хорошо, что есть еще много вопросов, лежащих вне круга естествознания, и странно было бы думать, что критическая мысль, тронувшая все вопросы, не знал бы, что ни Либих, ни Молешотт, ни Леман не решат ни вопросов политических, ни вопросов социологии, ни вопросов высшей нравственности, ни вопросов взаимных отношений людей, ни вопросов психологических. Речь была вовсе не об этом; речь была о том, что если в знаниях должна существовать известная постепенность, то нужно начинать с знаний ближайших, отвечающих насущным потребностям; а в таком случае изучение природы, конечно, является основным знанием и точные науки служат фундаментом всех последующих. Англия с своим положительным,

реалистическим направлением не утратила ни одного из благородных идеалов и ни одна страна не выставила стольких замечательных мыслителей, идеально-нравственных людей, гуманистов, филантропов, государственных деятелей, борцов за свободу. Точный склад мышления французов и их практическая положительность и склонность к математическим наукам не помешали французам создать Вольтера, Руссо, Дидро, Ламбера, Бабефа, Бушери, Ламнэ, Гизе и т. п. и завершить ряд этих личностей и подчас увлекавшихся фанатиков таким фанатиком идеи и увлекающимся энтузиазмом, как Огюст Конт. Почему же Россия должна была прийти к иному и положительное знание должно было убить в ней все идеальные стремления и лишить мысль благородного, возвышенного полета? Неужели в мизерности мышления тех, кто не ценил и злоупотребил, виновата критическая мысль, а не виновато следовавшее за нею бессмыслие?

Очень может быть, что в страстном увлечении своей идеей новая критика подчеркивала некоторые понятия. Так, она подчеркнула слово «эстетика», противопоставляя его сознательному, разумному, критическому поведению. Под «эстетикой» понимались бессознательные влечения, беспричинные симпатии и антипатии и все движения нашего внутреннего мира, в которых мы не можем дать себе ясного и строгого отчета и которые мы не можем свести к нашим потребностям и к понятию о вреде и пользе. Таким образом «эстетика» сводилась к безотчетности, к рутине, к отсутствию критического отношения. Но, выставляя принцип пользы, критика вовсе не говорила поэту: «Шей сапоги», или историку: «Пеки кулебяки». Она требовала только, чтобы поэт как поэт и историк как историк приносили каждый в своей специальности действительную пользу. Писатель должен расширять пределы личного опыта читателя; он должен давать ему новые факты, самостоятельные идеи, шевелить и расширять мысли. Но если книга всего этого не дает, то будет ли она написана прозой или стихами, она пустая и дрянная книга, и автору ее следует посоветовать шить сапоги и печь кулебяки. Требование это было, конечно, строго, но вполне последовательно. От писателей, как прозаиков, так и поэтов, требовалась искренность, честность, независимость и неподкупность. Критика доказывала, что настоящий поэт не может быть продажным мазуриком и что самому сильному таланту творческая сила тотчас же изменяет, как только он пустил ее в продажу. Поэт, например, должен знать и понимать все, что в данную минуту интересует самых лучших, самых умных и самых просвещенных представителей его века и его народа. Поэт как страстная и впечатлительная натура должен всеми силами своего существа любить то, что ему кажется истинным, добрым и пре-

красным, и ненавидеть святою и великою ненавистью ту огромную массу мелких и дрянных глупостей, которая мешает идеям истины, добра и красоты облечься в кровь и плоть и превратиться в живую действительность. Эта любовь, неразрывно связанная с этою ненавистью, составляет и непременно должна составлять для истинного поэта душу его души, единственный и священный смысл всего его существования и всей его деятельности. «Я пишу не чернилами, как другие, — говорит Берне, — я пишу кровью моего сердца и соком моих нервов». Так, и только так должен писать каждый писатель. Кто пишет иначе, тому следует шить сапоги и печь кулебяки.

Но каким бы литературным трудом человек ни занимался — поэт ли он, критик, публицист, ученый, фельетонист, популяризатор — для всех существует одно великое, общественное правило: идея прежде всего. Кто забывает это правило, тот немедленно теряет способность приносить людям пользу.

Впередидеиидейдолжнастоятьидеячеловеческойсолидарности. Эта идея — один из основных законов человеческой природы, — один из тех законов, которые ежеминутно нарушаются нашим поведением и которые своим нарушением порождают почти все хронические страдания нашей породы. Человеку для его собственного благосостояния необходимо общество других людей. На земле существует много отдельных человеческих обществ и между этими обществами существуют дружеские или враждебные отношения. Чем больше дружеских отношений и чем меньше вражды, тем лучше, тем живется легче и приятнее, тем легче достигается общее благосостояние. Идея любви должна проникать все частные и общественные отношения, и ради этой любви можно простить многое человеку. Истинно великие люди и истинно великие писатели были проникнуты страстною любовью к человечеству, доходившей в них иногда до галлюцинаций. И критика в подтверждение своей мысли ссылается на Пьера Леру и дает установленное им различие между поэтом и мыслителем, как руководящий светоч для тех и других «С высшей точки зрения, — говорит Пьер Леру, — поэтами можно назвать тех людей, которые из эпохи в эпоху раскрывают перед нами страдания человечества, а мыслителями — тех людей, которые отыскивают средства облегчить и исцелить эти болезни».

Человеческий труд весь целиком основан на науке; мужик знает, когда надо сеять хлеб, когда жать и косить, на какой земле может родиться хлеб и какое снадобье надо прибавлять в землю, чтобы урожай был лучше; но все это мужик знает смутно; его знание только зародыш науки, первая попытка человека уловить тайны живой природы. В настоящее время физический труд и наука находятся в разрыве

на всем пространстве земного шара. Физический труд и до сих пор пробавляется отрывочными, начальными сведениями, явившимися в доисторическую, начальную эпоху; а наука, накопившая во все последующее время громадный запас великих истин, осталась вне мускульного труженика, и масса не знает этих истин и не умеет ими пользоваться. Конечно, на свете есть множество изобретений, которыми может пользоваться и простой земледелец; на свете существуют железные дороги, телеграфы, пароходы, но от всего промышленного прогресса, которым так восхищаются многие, земледелец еще не начинает думать, не пробуждается в самостоятельности мысли и, возвратившись по «чугунке» в свою курную избу, он по-прежнему ведет дружбу с тараканами, по-прежнему лечится нашептыванием знахарки и по-прежнему обрабатывает допотопными орудиями свою землю, которая по-прежнему остается разделенною на три клена — озимый, яровой, пар. Купец же, отправив телеграфическую депешу, по-прежнему отбирает от своих детей книги и думает, что нельзя торговать без обмеривания и обвешивания. Почему же чудеса всех промышленных изобретений принесли пользу только людям высших сфер умственного труда и не принесли соответственной пользы мужику? Только потому, что они свалились сверху в темную и жалкую среду, которая для принятия их не была ничем подготовлена. Следовательно, ясно, что в этой среде нужно распространять знание, — а вот критическая мысль приходит прямым выводом к популяризации.

Критика старалась даже определить и свои собственные задачи. Задача ее, говорит она, в том, чтобы из всей массы литературных памятников, оставленных нам отжившими поколениями, выбрать то, что может содействовать нашему умственному развитию и объяснить, каким образом мы должны распоряжаться с этим отборным материалом. Такая обширная задача не по силам одному человеку, и на нее должны быть направлены усилия многих. Мысль эта была необыкновенно правильная, но, к сожалению, она не осуществилась. Войдите в любой магазин, и ваши глаза разбегутся в массу полок, уставленных книгами разных цветов, величины и толщины. Десяти человеческих жизней не достанет, чтобы прочесть все это. И разве нужно все это прочесть? Конечно, нет. А в таком случае, что же читать, и кто знает, что ему нужно прочесть, чтобы встать на уровень современных понятий и идей? Сумбур и путаница вносятся книжной спекуляцией и издательскою деятельностью в понятия взрослых и даже детей, и чтение сделалось чем-то случайным, отрывочным, а для человека, страстно стремящегося к выработке точного мировоззрения, — чисто египетской работой. Мы знаем, как молодежь, сбивающаяся с толку от несистематичности чтения, пыталась было

составить список книг, знакомство с которыми необходимо каждому; и, увы! обнаружила в этом такое наивное неведение, что только подтвердила, насколько критическая мысль шестидесятых годов была права. За эту работу никто не брался после; никто не рассортировал ни авторов, ни мыслителей; никто не указал, кого следует держать; никто не примирил противоречий, разделяющих даже людей одного лагеря, и поле мысли, закиданное целыми кучами идей всех цветов и всех времен, ждет критического пахаря, который бы снял неровности и из кочкарного поля сделал бы ниву Божию. Если бы нашелся человек для такой работы, он бы оказал несомненную услугу не для одного поколения и нанес бы решительный удар издательской спекуляции, рассчитывающей на малограмотность и на невежество.

Критика не обошла и задач романа. Она очень хорошо понимала силу и бессилие литературы, хорошо знала, чего можно требовать от нее при данных условиях, и не предлагала ей задач не под силу. Критика хотела, чтобы литература задавала обществу психологические задачи, показывала ему столкновения между различными страстями, характерами и положениями, наводила его на размышления о причинах этих столкновений и о средствах устранить подобные неприятности, заставляла его не сочувствовать в книге тому лицу или поступку, против которого общество вооружилось бы в действительной жизни. Критика хотела, чтобы литература формировала общественное мнение и говорила обществу: «Вглядывайся, вдумывайся в свою собственную жизнь, выметай из нее, хоть понемногу, тот мусор ложных понятий, на котором живые люди, твои же собственные члены, спотыкаются и ломают себе ноги!» Психологические задачи и формирование общественного мнения критика возлагала преимущественно на роман; она требовала от русского романа того же, что давали Диккенс, Виктор Гюго, др. Критика резко восставала против ложной морали и лицемерной нравственности, против обиходных понятий о пороке и преступлении, с которыми споткнувшегося раз на трудном пути человека, вместо того, чтобы помочь ему встать на ноги, толкали еще дальше в грязь.

Общий вывод и коротенькая формула, к которой пришла критическая мысль, заключалась всего в трех словах: «Любовь, знание, труд».

## V

Теперь мы спросим автора: есть ли хоть малейшая разница в том средстве, которое он предлагает в 1875 году, и в том, которое предлагалось в начале шестидесятых годов? Этой разницы нет и быть не может. Всякий искренний и честный человек, всякий человек,

которому дорога истина, всякий человек, вдумывавшийся в явления общественной жизни и в личные нужды отдельных людей, может прийти только к этому выводу, и разногласие невозможно. И его не было, нет и не будет. Большею частью оно является потому, что мы, может быть, относимся несколько легко друг к другу и сами выдумываем противоречия и несогласия, которых нет.

Недоразумение относительно критической мысли, сменившей Белинского, могло явиться только потому, что последующая жизнь осложнилась новым общественным элементом, которого не было; а цель, в которую критика направила свое отрицание, привела тоже к недоразумению.

Критика протестовала против Печориных, Лаврецких, Онегиных и против барской праздности. Против эстетиков и эпикурейцев этого сорта она выставила стоицизм, выставила идеал сурового, энергичного и в то же время умного и полезного для общества производителя. Вот идеал, ею противопоставленный прежнему расплывающемуся идеалу, идеалу, может быть, и не формулированному романом, но идеалу, созданному самою практикою жизни. А вы говорите, что новая критика никакого идеала не создала и вместо него будто бы дала стеснительную формулу, которая только потому и не привела ни к чему, что она была идеалистическим деспотизмом.

И последующая критика, как критика Белинского, предъявляла общие требования и указывала одни общие цели. Она действовала только на подъем духа, хотя требования ее были гораздо яснее и определеннее. Но дело в том, что новый идеал был нам слишком не по силам. Маркизом Позой быть легко, кипятиться и возмущаться против неблагородства и против всякой мерзости и играть на словах в игру великодушия, право, не очень трудно. Но быть Муцием Сцеволой или Коклесом, или Зеноном, последовательным до того, что семидесяти пяти лет он уморил себя голодом, — это потруднее, чем играть в благородство, подобно героям тургеневских романов, и возмущаться в общих чертах. Идеал стоицизма требовал слишком добродетельных убеждений и железного закала, чтобы мог послужить идеалом для тех, кто сменил Печориных, Онегиных, Лаврецких. Ясно, что за этим идеалом оказались только единицы.

Но он не послужил идеалом даже и для тех, кто явился новым общественным элементом и внес в русскую жизнь осложнение. Разночинец, может быть, вследствие лишений и нужды, которые его создали, а может быть, и вследствие того, что, благодаря тургеневскому Базарову, он усвоил себе теорию личного счастья, кинулся в противоположную крайность и посмотрел с одной стороны на идеал стойка, который давала ему критическая мысль, и на идеал эпику-

рейца, который давал ему русский роман, предпочел утонченное наслаждение грубому и скучному лишению и самоумерщвлению и таким образом не вышел сыном времени и сыном идеи, которую ему предлагали.

Виновата ли в этом критика и ее идеалы, или виновата жизнь? Теперь все обвинения привыкли сваливать на критиков, на передовиков, точно каждый сам не знает, куда ему идти, и желает следовать за каким-нибудь Диогеном; а между тем история и жизнь хотя и не отрицают Диогена, но им нужен Диоген-биржи, Диоген-делец, Диоген-практик, Диоген-политик, а вовсе не Диоген-стойк и идеал нравственного мужества, честности и благородства.

Мир уже с глубокой древности, когда ему приходилось распадаться на два враждебных лагеря, разбивался всегда на стойков и эпикурейцев. К лагерю эпикурейцев примыкали все те, кому на пиру природы было место, а к стойкам — кому места не было. Пока было возможно завоевать себе место за столом, стойки не пускались в философию, а просто отбивали себе место. Но когда никакая храбрость не помогла и приходилось остаться за штатом, лишние люди занимались философией и превращались в стойков-мыслителей. Стоицизм стойков-мыслителей был собственно выходом и паллиативным средством, которое помогло тем, что по крайней мере успокаивало. Стойки облакались в свое гордое величие только потому, что им не оставалось больше ничего делать. Но гордое величие зато сохраняло в них достоинство, и бедный человек чувствовал себя таким же свободным и независимым, как и первый богач.

Строгий идеал стойка всегда был пленителен; выше этого идеала, если требуется от людей нравственная сила, и представить нельзя. Правда, стоическая суровость не мирится с мягкостью манер, и от нее отдает даже демократической грубостью. Но при демократическом происхождении стоицизма это иначе и быть не может. Зато стоицизм выкупает недостаток своего изящества строгостью и неуклонностью своих правил и определенностью принципов.

Новая критическая мысль, выставившая этот суровый идеал, противопоставила им старому идеалу Печориных, Лаврецких, Онегиных, следовавших за более утонченным идеалом Эпикура и искаживших его, как это и всегда бывает с учениками. Этим же погрешили и наши стойки. И они, как стойки древнего мира, утратив благородные черты сурового идеала, ушли в цинизм, не сделавшись, однако, настоящими циниками. И тут в цинизме последователей обвинили учителей, когда в сущности циничность была логикой.

Но вот обстоятельство, особенно сбившее с толку людей сороковых годов, когда их разочаровали «дети». Стойки, по-видимому, должны

были остаться стойками или перейти в циников, а между тем они сделались эпикурейцами. Как же это могло случиться? Случалось очень просто. Стоицизм как идеал пригоден только для избранных людей с искрой Божией. Для обыкновенного человека стоицизм — ноша непосильная. И вот когда открылись разные возможности жизни и всем стало свободнее, разночинец, наслышавшийся о личном счастье, начал проталкиваться на локтях к пиру природы и предпочел эпикуреизм стоицизму.

Почитатели Белинского и до сих пор ставят его в образец и думают, что его влияние зависело исключительно от его нравственности и от постоянства, с которым он стучал в одну точку. Белинскому было легко стучать, потому что слушателями его было всего десять человек, а понимало его, может быть, только сто человек, и все они мирно и спокойно сидели за готовым прибором, как и следует эпикурейцам. Белинский облагораживал и улучшал только их и только им указывал на более тонкие и возвышенные стороны высшего наслаждения. Если бы Белинский явился теперь, с ним бы сделалось то же, что сделалось и с другими людьми. Не недостаток идеалов мешает нам теперь, а то, что возможности, открывшиеся для жизни, разошлись с требованиями передовой критической мысли. Неужели вы полагаете, что Белинский, как бы он энергично не кричал, усмирил бы вальпургиеву ночь?

Не в том беда, что исчезли идеалы, как думает автор. А в том, что практические возможности не ответили требованиям и стремлениям мысли. Борьба мысли с практикой сказывается теперь невозможной, и не оттого ее нет, что умер Белинский, а оттого, что та реальная почва, на которую хотела бы встать мысль, для нее в литературе закрыта, а третьестепенные вопросы разве могут возбуждать энергию чувства? Не возбудили бы они ее и в Белинском, который и если стучал в одну точку, то все-таки не повторял себя и не должен был жевать и пережевывать по двадцати раз одно и то же. Многие думают, что время Белинского было менее благоприятно для развития мысли, а ныне будто открыто для мысли больше возможности. Это большая ошибка. Если вы захотите сравнить подробно и беспристрастно возможности нынешние и тогдашние и определить самый характер идей, то вы согласитесь, что для критической мысли Белинского было больше простора.

Мы думаем, что доказали, что критика, сменившая Белинского, шла логически-преемственно за ним и так же, как Белинский, она действовала на подъем духа, возбуждала мысль, чувство и не стесняла человека никакими точно определенными формулами, подчинявшими его деспотически себе. Если идеал не пересилил общего тона современной жизни, то ведь и при Белинском идеал не брал верха.

Но у нашего времени с временем Белинского та разница, что он никогда не выходил из сферы литературного идеала, а нашему времени, ставшему на почву практических вопросов, пришлось задеть такую массу их, какая оказалась не под силу обыкновенному человеку. Наконец, большая ошибка в том, что многие поклонники Белинского отрицают в теперешней России всякую нравственную добропорядочность, точно она совсем вымерла. Это происходит оттого, что они при Белинском знали лично небольшой кружок представителей идей, а теперь тех людей, которые, хранят священный огонь, они не видят подле себя и потому думают, что ничего благородного на русской почве не осталось. Дождитесь, когда действующее поколение сменится следующим, и тогда вы увидите — умерла ли честная русская мысль и умерло ли русское благородство.



## **Н. И. БАРСОВ**

### **Белинский как религиозный мыслитель (Белинский, его жизнь и переписка. Сочинения А. Н. Пыпина. Два тома. С.-Петербург. 1876 год)**

Мы поинтересовались прочесть биографию знаменитого критика, составленную с тою тщательностью и отчетливостью, каких заслуживает столь интересная личность и какими характеризуется вообще научно-литературная деятельность г. Пыпина, в надежде, наряду с биографическими подробностями о Белинском, ознакомиться с историей его духовного развития и внутренней нравственной жизни, столь обильной всякого рода потрясениями и переворотами, в частности, ознакомиться более подробно с характером его отношений к религиозному мировоззрению и к учению православной церкви. Наша надежда оправдалась, хотя и не вполне. Составитель биографии собрал громадную массу новых материалов, преимущественно писем Белинского к друзьям, едва уместившуюся в двух весьма объемистых томах. Автор в предисловии объясняет, что это далеко не весь материал, бывший в его распоряжении, многое не могло войти в его издание